

## **Неприкосновенный запас. 2009. №3**

**Андрей Макарычев**

### **Власть, политика и федерализм в России: уроки «критической теории»**

#### **Введение**

Некоторые симптомы последнего времени показывают, что в российской академической среде возрождается интерес к регионализму. В 1990-е годы о региональных особенностях России писали многие политологи, после чего наступил период спада: с одной стороны, большинство зарубежных теорий были обсуждены и, по возможности, адаптированы; с другой, -- политика восстановления «вертикали власти», казалось, не оставляла простора для динамики и новаций в сфере федеративных отношений. Однако такой штиль не может продолжаться долго: в политологической среде постепенно вызревает понимание, что централизация управления не делает менее значимыми взаимоотношения между федеральным центром и субъектами федерации. Скорее, речь идет о необходимости обновления методологического инструментария и об осмыслении новых сюжетных линий, которые формируются на субнациональном уровне.

Настоящая статья написана с ощущением того, что многие традиционные для политической науки подходы исчерпали свой эвристический потенциал применительно к изучению вопросов региональной политики в России. Можно ли посмотреть на российский федерализм сквозь призму относительно новых (как для Европы, так и, тем более, для нашей страны) теорий, связанных преимущественно с постструктуралистскими критическими подходами? Как нам кажется, на этот вопрос можно ответить утвердительно.

Важным элементом критической теории выступает противопоставление «технологической» и «политической» моделей власти. Эта логическая пара представляет собой рамку для анализа различных режимов власти, являющуюся альтернативой более традиционному противопоставлению «демократии» и «авторитаризма». Обе модели задают лишь общие векторы понимания логик власти, которые мы попытаемся приспособить для анализа особенностей федеративных отношений в России.

#### **Власть как технология: три модели**

Многие специалисты называют современную модель федерализма в России «инструментальной и технологичной»[1]. Такая оценка отсылает к наследию Карла Шмитта, который определял деполитизацию как «абсолютный техницизм», то есть безразличие в отношении политической цели -- подобно тому, как у инженера

может не быть интереса к дальнейшему использованию его изобретения. Он сравнивал такую модель с системой «безошибочной объективности», согласно которой «должны остаться лишь организационно-технические и экономико-социологические задачи, но не должно быть более никаких политических проблем»[2].

На этом фоне становятся более понятными рассуждения о том, что Владимир Путин своим приходом к власти «нейтрализовал политику», превратив государство в машину для эффективного управления. Однако деполитизация не означает утраты государством своих суверенных свойств. Более того, именно с помощью технологического инструментария и поддерживается состояние суверенного господства. Далее мы покажем, что российское государство реализует свои суверенные качества при помощи трех механизмов деполитизации.

### Постполитическая власть

«Постполитика» (термин Славоя Жижека[3]) -- это замена политики суррогатом, лишенным своей сущности. Этот термин описывает ситуацию «политики без политики», то есть дефицита политического начала, реализующегося в виде идеологии, конфликтов и борьбы[4]. Постполитика основана не на столкновении различных мировоззренческих позиций, а на технологиях, позволяющих дисциплинировать политическое пространство. Именно в этом смысле постполитика представляет собой практику всеобщего консенсуса, базирующегося на идее «нормализации».

Эти теоретические рассуждения можно встроить в логику развития российского федерализма, имея в виду, что управленческая культура федеративных отношений в России носит преимущественно технологический характер, основанный на универсальной применимости ряда стандартизированных инструментов. Постполитическая власть проявляется посредством нескольких ключевых концептов, которые учреждают и поддерживают ее.

Первым из них выступает единство, достижение которого Жак Рансьер описывает в категориях «архиполитики». Именно в «патологическом желании единства и тотальности»[5] Ален Бадью видит основную проблему многих стран, строящих свою постполитическую идентичность на представлении об обществе как об органично структурированном, однородном социальном «теле», в котором нет внутренней почвы для политических антагонизмов. Такие представления соответствуют различным вариантам воссоздания «вертикали власти» в России без сколько-нибудь заметной политической роли регионов, которые воспринимаются как носители «избыточных» идентичностей, не укладывающихся в «архиполитическое» пространство власти.

Приоритет экономики над политикой. «Постполитическая» власть основана на

таком объединении интересов государства и крупного бизнеса, которое сводится к сужению сферы политического. При этом российское государство часто имитирует технологическую в своей основе логику бизнеса, хотя она замаскирована под политические решения. Например, переход к фактическому назначению глав регионов был оглашен в политическом контексте, связанном с бесланским кризисом, однако, по сути, базировался на экономической логике: если «регионы-корпорации» управляются плохо, то необходима процедура внешнего управления, которая отнюдь не обязана быть демократической.

«Параполитические» элементы можно увидеть в весьма распространенной точке зрения, согласно которой современное государство превращается в создателя рынка публичных услуг и управляющего бизнес-процессами. При этом сами регионы также могут быть носителями деполитизирующих импульсов. На федеративной сцене стали выделяться те регионы, у которых есть прагматическая стратегия развития, привязанная к федеральным ресурсам. В рамках такого дискурса не случайно появление метафоры «регионы, как супермаркеты развития»[6].

Рационализм. Деполитизированный консенсус времен Владимира Путина и Дмитрия Медведева имеет под собой рациональную основу, то есть «здоровый смысл» и различного рода технологии «полезного», «мудрого» устройства общества. Корни такой управленческой модели соответствуют тому, что Мишель Фуко обозначил термином *governmentality*. Она же может быть названа и «метаполитикой»[7].

В качестве примера заметим, что доминирующая в России управленческая парадигма все в большей мере основывается на результатах различного рода мониторингов и индикаторов развития. Государство, которое становится все более технократическим, пытается найти нейтральные -- то есть нечувствительные к политической конъюнктуре -- инструменты, с помощью которых можно было бы, абстрагировавшись от «человеческого фактора», более или менее объективно ранжировать регионы. Для губернаторов такая «цифровая» модель коммуникации представляет проблему: воспроизводя логику технократического правления в собственных регионах, в отношениях с Москвой они, тем не менее, привыкли полагаться на другие аргументы, предусматривающие торг, сделки, «размены», компромиссы, разграничения сфер влияния и так далее. Рейтинговое мышление противоречит такому традиционному способу коммуникации с центром, что, вероятно, вполне устраивает федеральную власть.

Игра по правилам. Эта модель может быть названа «параполитикой», при которой политический конфликт заменяется соперничеством между легитимными, признанными агентами, разворачивающимся на основе четко установленных и обязательных для выполнения всеми правил. Соответственно, политические альтернативы за пределами этого «триумфа административного благоразумия»[8] считаются неприемлемыми. Примером может служить регулируемая федеральным центром конкуренция между различными политическими силами в регионах

посредством процедуры назначения губернаторов[9].

Распространение симулятивных технологий, описываемых бодрийеровским концептом симулякра. Здесь хорошей (хотя и сугубо частичной) иллюстрацией может послужить эволюция дискуссий о «третьей столице», развернувшаяся между несколькими городами России, в частности -- между Нижним Новгородом и Казанью. В минувшее десятилетие этот спор начинался как потенциально политический -- то есть связанный с борьбой за перераспределение властно-символических ресурсов. Но к 2009 году он перешел в плоскость конкуренции коммерческих брендов. Как известно, Казань отстаивала свое право называться «третьей столицей», а Нижний Новгород ограничился патентованием бренда «столица Поволжья». Оба этих «вторых имени» стали составными элементами маркетинговых технологий продвижения имиджей городов как товаров. При этом внутреннее содержание каждого из «столичных» брендов вполне может оставаться неконкретным. «Третья столица», равно как «столица Поволжья», -- словесные конструкции, которые представляют собой пустые формы, открытые для различных толкований. Трансполитическая власть заинтересована в существовании имиджевой «столичности» как бренда, имеющего перспективы рыночной капитализации, но при этом не требующего ни легитимности, ни объяснения.

Порядок. С началом эпохи Нового времени институциональные процедуры и меры административного порядка, необходимые для обеспечения безопасности, стали называться «полицией». Соответственно, концепция «полицейского государства» подразумевала способность суверена требовать от общества подчинения при помощи запретов и команд[10]. Именно так подходит к этой проблеме Мишель Фуко, для которого «полиция» есть своего рода «технология государственных сил, которая имеет главной целью наведение порядка»[11].

«Полицейская» модель власти актуализируется, когда речь заходит о необходимости «кнута», который центр мог бы использовать в отношении губернаторов или мэров. Например, создание федеральных округов с возложенной на их руководителей миссией «инвентаризации» регионального законодательства и приведения его в соответствие с общефедеральным вполне можно рассматривать как одно из проявлений «полицейской власти». С этим же связано и укрепление института федерального вмешательства, в соответствии с которым президент получил право выносить предупреждение законодательному органу региона и распускать его, отстранять от должности губернаторов и так далее[12].

Сила. В критической теории есть термин «ультраполитическая власть», который подразумевает милитаризацию политики, то есть ее базирование на возможности войны -- с бандитами, террористами, экстремистами и прочими врагами. Наиболее ярко «ультраполитическая власть» проявилась, конечно же, при «проведении контртеррористической операции» и «наведении конституционного порядка» в Чечне.

## Трансполитическая власть

Трансполитика характеризуется Жаном Бодрийяром как подрыв политики в качестве автономной сферы деятельности, как состояние переизбытка, при котором политика не может оставаться в своих рамках и совершает неизбежную экспансию в другие сферы: в экономику, право, конфессиональные отношения. Политическим становится все, в результате чего происходит мутация большинства институтов.

Стирание в регионах границ между политикой и бизнесом, политикой и управлением, политикой и культурой и есть следствие той тенденции, которую Бодрийяр назвал трансполитической. Но главным трансполитическим эффектом в системе федеративных отношений России стал фактический отказ от разграничения полномочий между федеральным центром и субъектами федерации с помощью двухсторонних договоров. В результате внедрения в практику идеи «вертикали власти» произошла трансполитическая экспансия федеральных практик в регионы и муниципалитеты. Воссоздание доминирующей партии в лице «Единой России» только усилило эту тенденцию: «большая» («кремлевская») политика теперь автоматически переносится на каждую отдельную территорию, определяя тем самым состав управленческой элиты и сами административные практики.

## Биополитическая власть

Центральным элементом биополитической власти являются вопросы, связанные с жизнью человека: его здоровье (и, соответственно, значительная часть социальной политики), особенности расселения, сохранение естественной среды обитания для коренных жителей, демография, экология. Биополитика охватывает медицину (признание болезней и борьба с ними), педагогику (уход за детьми и защиту их прав), обеспечение старости, гигиенические требования, качество продукции и многое другое. Биовласть берет под свой контроль все население и обеспечивает ему социальную безопасность исходя из понятия «нормы». При этом, если пользоваться терминологией Фуко, выстраивается смысловой ряд: «население -- биологические процессы -- регулирующие и страхующие механизмы государства».

Функция биополитического государства -- это патерналистская забота о поддержании жизни человека как биологического существа, что, конечно же, нельзя не приветствовать. Но оборотной стороной биополитической власти выступает деполитизация социальных отношений, которая на этот раз проявляется в виде понимания «прав человека» как преимущественно прав биологических существ, приоритетно нуждающихся в сохранении жизни и здоровья. «Социальная политика» государства, как в центре, так и в регионах, это и есть другое название биополитики, которая становится важнейшей технологией стабилизации отношений власти.

\*\*\*

Проводимый анализ подводит к мысли о том, что консенсус, обеспечиваемый совокупным действием трех описанных выше постполитических механизмов, представляет собой особую форму отношений гегемонии. Возникает вопрос: как формирование такой модели государства влияет на систему федеративных отношений? Общий ответ может состоять в том, что постполитическое, трансполитическое и биополитическое государство демонстрирует низкую чувствительность к региональной специфике. В качестве подтверждения можно сослаться на практику назначения главами регионов «варягов», призванных проводить «санацию» вверенных им земель на основании опыта, полученного на иной территории. Другой пример -- назначение представителями регионов в Совете Федерации лиц, обладающих лоббистскими навыками, но не имеющих прямого отношения к представляемому региону. Регионализм для такого государства актуализируется преимущественно в виде геоэкономической рамки, определяющей близость и доступность транспортных коммуникаций, а также возможность использования ресурсов регионов для достижения тех или иных внешнеполитических целей. Далее речь пойдет о том, продуктивна ли такая ситуация и есть ли признаки ее замещения какой-либо другой.

#### «Островки политизации»

Вопрос о том, что такое политика и где проходят ее границы, в последние годы оказался сильно запутан; именно поэтому здесь необходимы некоторые терминологические пояснения. С нашей точки зрения, политика -- это не обязательно вопрос масштаба социального действия, но, скорее, вопрос принятия решения на основе выбора, то есть проявления субъектности. Далее, политика -- это не только действия официальных властей, которые как раз чаще всего являются главным источником деполитизации. Политика рассеяна по всему спектру социальных отношений, у нее нет своего «места», она концентрируется в отдельных точках властного пространства.

Возможно, концепт политики лучше всего воспринимать через метафоры. Одна из них -- «пустое поле», противостояние на котором происходит вокруг того, что такое добро и зло, хорошее и плохое, правильное и неверное. В политике ведется постоянная борьба за определение границ, которые отделяют правило от исключения, норму от отклонения. В этом смысле, например, исходившие из Грозного настоятельные требования отменить режим контртеррористической операции на территории Чечни, то есть признать «нормальный» статус этого региона, могут быть названы политическими.

Есть и другая метафора: политика -- это «собственный избыток», порождающий

тех, кто выводит ее за собственные границы[13] и кто лишен своего «места» в структуре власти. Отсюда -- конфликт между структурированным политическим телом, «в котором каждая часть занимает свое место», и «частью [...] расстраивающей этот порядок»[14]. Поэтому политика не может быть безопасной, в ней нет ничего гарантированного: она возникает с учреждением новых форм социального порядка. Эта инновационность политики предполагает высокую неопределенность, так как любая новизна включает в себя нечто, выходящее за пределы текущего институционального порядка. Политика, таким образом, является не «искусством возможного», а, наоборот, «возможностью невозможного»[15].

В рамках критической теории сформировались две точки зрения на то, кто является субъектами политики. В умеренной версии политическим субъектом признается тот, кто: а) подчиняется власти и одновременно б) держит некую дистанцию по отношению к ней, не отождествляет себя с ней полностью, сохраняя «свободу рук» для сопротивления внутри структуры. Именно так мыслят Мишель Фуко и Джудит Батлер.

Но есть и более радикальная позиция, выраженная Жаком Рансьером:

«[Политика] есть акт, действующий то, что я назвал причастностью непричастных. [...] Политика -- это необычное и всегда трудное исключение из логики господства. [...] Общественные практики управления нормальным обществом склонны к подавлению политики. Ведь политика мешает [...] спокойно управлять. Власть есть всегда. Но вот политика -- не всегда, она даже редко встречается»[16].

Это происходит потому, что политика предполагает протест, множественность, анархичность; у нее нет своего «естественного субъекта». Она не создает, а разрушает статус-кво: «конфликт не просто продуктивен, но и конститутивен: политика существует только в споре»[17]. Вместо консенсуса, она опирается на «диссенсус», то есть на разрывы, выход на авансцену чего-то нетипичного. Политическое пространство базируется на «сингулярностях», то есть на тех, чей опыт отличен от опыта других[18]. Соответственно, коммуникация в рамках однородного пространства не может быть названа политической.

Политика, таким образом, основывается на признании неустранимого разнообразия групп людей. Она есть «поле многообразия», где каждая единичность представляет ценность как точка зрения[19]. Но в то же время политика не может основываться только на частностях, она -- удел того, кто воплощает в себе нечто большее, чем он является сам по себе. Политика основывается на том, что некая частность начинает выступать как носительница более широких трендов или интересов и в силу этого

дестабилизирует сложившийся порядок вещей в общественном организме. Соответственно, политическими можно назвать попытки определить идентичность субъекта через более широкие (то есть выходящие за его индивидуальную идентичность) смыслы.

Интерес к данной позиции связан с тем, что отдельные регионы способны выдвигать политические требования -- то есть такие, которые далеко выходят за рамки их частных идентичностей. Это и предопределяет одну из важнейших сюжетных линий во взаимодействии между центром как источником деполитизации (Москва пытается представить требования регионов как индивидуальные, то есть ограниченные конкретным контекстом) и регионами как очагами потенциальной политизации. Одной из возможных иллюстраций оказывается сравнение опыта Татарстана и Чечни[20], причем в двух ракурсах: либо как модельных примеров различных тенденций дистанцирования от федерального центра, либо как исключений из общих правил[21]. В обоих случаях эти республики помещаются в рамки политических отношений: исключительный статус отдельных субъектов федерации, по сути, кодифицирует те практики, которые отражают сложившуюся в России конфигурацию власти по линии центр--регионы[22].

\*\*\*

Ожидает ли нас в ближайшее время возвращение политики в сферу федеративных отношений? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать несколько других:

-- Сколь серьезны те «развилки», которые стоят перед различными регионами, особенно в свете глобального экономического кризиса?

-- Расширяется ли в результате возможность выбора из нескольких альтернативных сценариев, в том числе прямо противоположных?

-- Повышаются ли шансы на возникновение коалиций и распространение коллективных действий или же по-прежнему преобладают индивидуальные стратегии?

Положительные ответы на эти вопросы создают потенциальную возможность для постепенной политизации ситуации. Ее симптомы («точки политизации») могут быть следующими.

Во-первых, это огромный дискурсивный разрыв между «государственным» и «экспертным» языками, особенно в регионах. Понятийный аппарат государства -- включая «суверенную демократию», «план Путина», «национальные проекты», «вертикаль власти» и прочее -- редко используется в профессиональных дискуссиях о будущем российского федерализма. Следствием этого разрыва



становится постепенное расширение пространства политических дебатов в стране.

Во-вторых, глобальный кризис усилил межрегиональные противоречия в России. Потенциально политическое содержание таких коллизий пока закамуфлировано под экономические сюжеты, однако по опыту газового конфликта с Украиной или запрета на ввоз в Россию товаров из некоторых соседних стран мы знаем, что политизировано может быть любое противоречие, достигающее высокой степени остроты.

В-третьих, если пользоваться терминологией Эрнесто Лаклау, сквозь доминирующую «логику эквивалентности» начинает постепенно пробиваться «логика различия». «Путинский проект», основанный изначально на недопустимости исключений (особых условий) для отдельных регионов, начал давать сбои именно на этом направлении. Особенно ярко это проявилось в случаях с Чечней и Татарстаном. Умиротворение Чечни под руководством Рамзана Кадырова стало возможным только на основе неформального признания исключительного статуса этой республики. В случае с Татарстаном дело дошло до попытки повторного заключения двухстороннего договора с федеральным центром, что можно рассматривать как серьезную брешь в «логике эквивалентности».

В-четвертых, во многих случаях процесс формирования региональной идентичности строится по контрастному принципу «свой--чужой», имеющему в основе политическую логику. Это особенно характерно для большинства приграничных территорий: «другими» для них могут быть Китай или Казахстан как источники миграционных рисков, Эстония как символ «недружественной» части Европы и так далее. Другой важный вектор политизации в сфере федеративных отношений связан с ситуацией на Северном Кавказе, где, по мнению ряда специалистов, «исламские радикалы перешли в активное наступление», стремясь к реализации так называемого «исламского мегапроекта»[23].

В-пятых, сохраняются возможности для политизации и внутри регионов. Например, попытка Мера Шаймиева и Муртазы Рахимова поставить в 2008 году вопрос о возвращении к процедуре избрания глав субъектов федерации выявила неоднородность «Единой России» и наличие в ней различных позиций по этому вопросу. Громкие и публичные конфликты внутри «Единой России» в некоторых регионах (например в Нижегородской области в 2009 году) показали, что федеральная власть не является ни монолитной, ни однородной, и в ней имеются различные течения, обнажающие противоречия между разными группами властвующей элиты.

## Заключение

Из сказанного выше следует несколько выводов.

Во-первых, есть несколько стратегий регионального развития, которые можно назвать политическими. Это: а) обособление от федерального центра и попытка самостоятельного позиционирования; б) выставление какого-то системного требования (например о возвращении выборов губернаторов); в) превращение региона в «островок инноваций», требующий к себе индивидуального подхода.

Во-вторых, федеральный центр склонен применять такие стратегии деполитизации, как криминализация протеста или сопротивления унификации и вынесение (вытеснение) его за пределы легитимного пространства. Государство боится политизации, поскольку считает, что оно само является единственным источником политического. При этом вопрос, может ли федеральный центр действовать в рамках политических взаимоотношений с регионами, остается актуальным. Можно предположить, что у федерального центра есть свой проект «управляемого регионализма», однако Москва пока не совсем четко представляет, как использовать региональное разнообразие без ущерба для «суверенной демократии».

В-третьих, в результате глобального финансового кризиса все социальные пространства приходят в движение, становятся более мобильными, формируя новые зоны неопределенности, нестабильности и экспериментирования. Общая тенденция при этом видится в расширении возможностей выбора на всех уровнях социального взаимодействия. Но это не столько «рациональный», сколько политический выбор: здесь нет модели, которую можно было бы использовать для легитимации предпринимаемых шагов в духе теории «зависимости от предыдущего пути» (path dependency). Вытекающее из этих рассуждений возможное возвращение политики в сферу федеративных отношений, разумеется, не означает большего комфорта. Скорее, оно означает возможность большего числа идентичностей и вытекающих из них стратегий -- при всей неустранимой конфликтности такого разнообразия.

[1] См.: Федерализм и демократия. Материалы «круглого стола» // Космополис. 2007. № 3(19). С. 158.

[2] Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-пресс -- Ц, 2000. С. 96.

[3] См.: Zizek S. The Universal Exception: Selected Writings. Vol. II. London; New York: Continuum, 2006.

[4] Фуко М. Интеллектуалы и власть. М.: Праксис, 2006. Ч. 3. С. 268.

[5] См.: Badiou A. Infinite Thought: Truth and the Return of Philosophy. London; New York: Continuum, 2002.

[6] См.: Княгинин В. Управление регионами -- восстановление власти // Со-

Общение. 2005. № 2 ([www.soob.ru/n/2005/2/5/3](http://www.soob.ru/n/2005/2/5/3)).

[7] См.: Бадью А. Можно ли мыслить политику? Краткий курс метаполитики. М.: Логос, 2005.

[8] Рансьер Ж. На краю политического. М.: Праксис, 2006. С. 7.

[9] См.: Княгинин В. Мы должны не конкурировать с Москвой, а идти самостоятельным путем // Невское время. 2005. 17 мая ([www.nevskoevremya.spb.ru/sz/3412/mue\\_dolzhnue\\_ne\\_konkurirovatmz](http://www.nevskoevremya.spb.ru/sz/3412/mue_dolzhnue_ne_konkurirovatmz)).

[10] Neumann I. Russia as a Great Power, 1815--2007 // Journal of International Relations and Development. 2008. Vol. 11. № 2. P. 135.

[11] Фуко М. Указ. соч. С. 148.

[12] Смирнов В. Сильное государство и(ли) демократия: предварительные итоги политических реформ в России // Россия-2001: новые тенденции политического, экономического и социального развития. Материалы конференции. Волгоград: Институт Кеннана, 2001. С. 18.

[13] Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.: Ad Marginem, 2003. С. 140.

[14] Там же. С. 131.

[15] Бадью А. Указ. соч. С. 16.

[16] Демократия как политическая форма. Беседуют Жак Рансьер, Жан-Франсуа Шверье, Софи Ваних // Журнал № 1. Политика, философия, искусство. 2002 (осень). С. 125--126.

[17] Там же. С. 129.

[18] См.: Diprose R. Governing the Future: The Paradigm of Prudence in Political Technologies of Risk Management // Security Dialogue. 2008. Vol. 39. № 2--3. P. 276.

[19] См.: Бросса А. Невыговариваемое // Рыклин М. Деконструкция и деструкция. Беседы с философами. М.: Логос, 2002. С. 63.

[20] См.: Лapidус Г. Асимметричный федерализм и государственное строительство в России // Федерализм в России. Казань, 2001. С. 285--286.

[21] См.: Solnick S. Putin and the Provinces. Washington, D.C. PONARS Memo № 115. 2000 (April).

[22] См.: Stoner-Weiss K. Central Weakness and Provincial Autonomy: The Process of

Devolution in Russia. Washington, D.C. PONARS Memo № 39. 1998 (November).

[23] Маркедонов С. Вернуться на Кавказ // Апология. 2006. № 9. С. 117.